



Ян Калинчак

Сербиянка

I

Жила на свете красивая девушка, такая прелестная, такая чудесная, что равных ей не было под солнцем. Глаза у неё были большие, чёрные; стоило ей только взглянуть и повести взглядом, казалось, что ясный сокол своими волшебными крылами рядом взмахнул. Щёчки её были так прелестны: стоит только посмотреть на них, и кажется, что солнышко утреннее, выскочив из-за высокой горы, переполняемое чувством любви, готово расцеловать весь необъятный безбрежный белый свет. А фигура у неё была такая изящная, такая гибкая, такая стройная, что, кажется, мог бы кнутом её перешибить, а если обнять, так дважды. Звали ту девушку Милица.

Однако девушка эта много зла на земле сотворила: если не веришь, спроси хотя бы у юношей, и каждый скажет тебе: «Верно, так оно и есть, много зла сотворила». Но не она тому виной: она освещала мир своей красотой, не обращая внимания на то, что делают люди, глядя на нее, не взирая на то, несёт это миру счастье или несчастье.

И была эта девица Милица сироткой: кроме Бога и добрый людей не было у неё никого на всём этом божьем свете. Ей ещё и двух лет не исполнилось, когда умерли у неё и отец, и мать. Вся её семья погибла в Косово, а отец, который правил сербской землей во время турецкой зависимости, погиб в 1447 году, когда турки полностью уничтожили на Дунае греческие, романские и славянские племена.

Жил на свете Савва Маркович, который взял под опеку юную Милицу, и девушка у него расцвела подобно утренней заре и ни в чём не знала недостатка — разве что в матушке, что в земле погребена, да в птичьем молоке. Старый Савва её защищал и от злых турок, и от глаз излишне любопытных юношей; он берёт ее как зеницу ока, ибо турки злые — забирают всё, что только могут, и особенно красивых юных девушек; юноши сербские тоже злые, ибо похищают сердечки и приносят девушкам тысячи хлопот. Кроме того, Савва Маркович был настоящим сербом, и в голове его сплеталось немало замыслов. Он обещал Милицу самому достойному из сербских юношей, и по-другому быть уже не могло. Когда приходили к нему люди жаловаться на то, что турки, харадж¹ собирая или для зерно паши выгребая и главицу (подушное) требуя, мучают их, истязают, он говорил: «Позор для юноши

¹Харадж – (араб.) государственный поземельный налог в странах Ближнего и Среднего Востока, взимавшийся в средние века и в новое время. Первоначально харадж, как и джадья, – дань, которую должно было платить арабскому государству покоренное немусульманское население. – Здесь и далее прим. пер.

жаловаться на притеснения и не думать о мести, не думать об освобождении отчизны!» Когда же пожилые люди жаловались, что турки оскверняют храмы, а их самих на старости лет гоняют туда-сюда, на это Савва так отвечал: «Эй, побратимы! Сами погибните, но турка разбейте; а иначе дней вашей жизни останется меньше, чем волос на вашей голове!» За эти речи, за его самостоятельность в суждениях почитали Савву лучшим из сербов. — Вот у него-то расцвела и радовалась девица Милица.

Но Савва старел и старел. Волосы его понемногу седели и редели, а очи, этот алмаз человеческой души, все более мутнели, руки и голос его дрожали, а богатырская фигура клонилась долу, словно явор осенью, печалющийся о листьях своей жизни.

Печально, тоскливо было на душе у Саввы; нигде не видел он освобождения. Пожилые, познавшие сладость свободы люди поумирали, а новое поколение выросло в рабстве и полагало, что так оно и должно быть. Стоило задуматься об этом, сердце его сжималось, и тяжело вздыхал он, когда сознавал, что не дожить ему до освобождения отчизны; и плакал, когда смотрел на Милицу, бриллиант своей души, ибо беда женщине, которая, не умея защититься, должна погибнуть в рабстве ни в чем не повинная.

Раз пришёл к нему старший сын Марко и сказал: «Отец мой, я убил уже более сотни турок и горжусь, что я — кровь от крови твоей, душа души твоей — лучший юноша во всей Сербии, и потому, согласно твоему обещанию, прошу: «Отдай мне Милицу в жёны!»

Старый Савва склонил голову, пробормотал что-то в седые усы и отвечал сурово, негромко: «Сынок мой Марко, Милицу получит тот, кто совершит более того, что ты совершил; он должен освободить Сербию от ига тюрбанов и веры ложного пророка».

«Молчи, отец, — отвечал Марко, — ты требуешь большего, чем смертный человек способен совершить. Душман¹ попирает полмира и насмехается над народом, который тает перед ним словно мгла в горах перед солнечным светом».

Савва заскрипел зубами, ибо сердце его было более чувствительным, чем у жизнерадостного юноши; посмотрел он на сына сердито, вскинул руку угрожающе, а потом с язвительной усмешкой произнёс: «Это ты — лучший в Сербии юноша? Это ты — кровь от крови моей? Это ты хочешь получить Милицу?»

«Разумеется, хочу! — гордо отвечал Марко. — Отец, не гневи меня! — заговорил он после короткой паузы. — Ибо я не серб, если вынесу твой укоризненный взгляд!»

«Хорошо! Хорошо, сынок мой Марко! — порывисто ответил старец. — От престарелого отца, который едва способен поднять в руке ханджар², ты не способен вынести один-единственный взгляд, но полагаешь невозможным избавление от турецкого позора? Хорошо! Хорошо, сынок мой Марко!»

И Марко задрожал как осина, зубы его застучали, юное чело нахмурилось и, казалось, он того и гляди схватит отца за грудки. «Кто сказал тебе, что мы лижем

¹Душман — (перс. — «враг») — противник, враг.

²Ханджар — в арабско-турецких странах заменял в XVI столетии саблю и кинжал, представляя по форме соединение этих двух образцов; состоит из клинка, в средней части выгнутого, а в нижней выпуклого, и оканчивался узким обоюдоострым лезвием. Рукоять с двумя «ушами»-выступами. Небольшие Х. назывались ятаганами.

цепи нашего врага? Что не скрипим зубами над нашим позором? — Оставь себе Милицу, я знать её не хочу, покуда нога душмана ступает по сербской земле. — Будь здоров, отец!»

Старый Савва искрящимся взглядом посмотрел на своего сына, с силой ухватил его за кабану¹ и окликнул: «Постой! Постой, сынок мой Марко! Так же точно, как то, что я прожил на свете уже семьдесят лет, так и Милица будет твоей».

«Не посмотрю ни на тебя, ни на Милицу, — воскликнул Марко, — покуда ты не признаешь, что я самый лучший юноша во всей сербской земле!»

«Признаю, признаю, признаю, сын мой, — ответил старик, — но выслушай мудрое слово старика!»

Марко вернулся, сел за стол на скамью, подпёр голову руками и смотрел на отца, словно приглашая его к разговору.

«Ты не смеешь взять Милицу сейчас! — и, склонившись над ним, почти шёпотом он продолжал: — Сын мой Марко, мои собратья обошли и Сербию, и Боснию, и Герцеговину, скоро поднимется народ христианский. Сын мой Марко, ты должен будешь вести его и погибнуть, если окажешься не в силах победить».

Глаза Марко засверкали. Выскочил он из-за стола, обнял престарелого отца и держал его в объятиях без слова, без звука.

Люди простые живут исключительно насущным, и одно единственное слово способно вызвать в их груди самые противоположные чувства.

¹Кабана — часть словацкого национального костюма.

II

Старый Савва Маркович был самым знаменитым из сербских всадников; турки оставили его в покое и выпустили из-под наблюдения, поскольку старость его не могла вызывать никаких опасений. Но мир ошибался; он был деятелен, и его усилия лишь потому не выходили на свет, что предпринимались они при посредстве не привлекавших внимание стариков. — Наибольшие надежды в своих предприятиях он возлагал на двух своих сыновей. Оба юноши красавцы — высокие, смуглые, глаза сверкающие, чёрные; оба смелы настолько, что кроме Бога никого не боятся, оба настолько проворны, что из любой переделки сумеют выпутаться. И всё же было меж ними большое различие. Марко был серьёзен, с увлечением слушал слова отца, ездил по стране и всюду выискивал повод придрататься к туркам, средь бела дня подвергаясь наибольшей опасности. Поэтому характер его был вполне закалённым, ничто не могло его ни утратить, ни вывести из себя, кроме хулы, отпускаемой по поводу его удали. Если случалось такое, он был подобен урагану, всё сокрушающему, всё уничтожающему на своем пути. — Младшего звали Янко. Было ему двадцать лет, и он ещё не переступил отцовский порог. Наибольшую радость для него составляло бродить по самым высоким скалам рудницких гор и оттуда стремительным оком любоваться страной. Чаще всего он проводил время в одиночестве, драк не искал, но если уж оказывался в драке, то всех побеждал благодаря своей необыкновенной силе. Отец на него много внимания не обращал, полагая, что он ещё молод, и тем потворствовал его свободе. Ну и Янко о домашних не очень-то беспокоился; брал под руку Милицу и отправлялся с нею — играя и напевая, — по зеленым лугам, по шелестящим рощам, по шумящим горам.

Старый Савва сидит в комнате и разговаривает с Марко о всяких важных вещах. Входят в комнату рука об руку Янко с Милицей.

«Где вы были, дети?» — спрашивает Савва.

«Были мы в горах и смотрели как народ валом валит к Руднику», — приятным голосом отвечает Милица.

«А знаете ли вы, что это за люди?» — спрашивает Савва, устремив взгляд на Янко.

«Люди как люди, — безразлично отвечает Янко, — какое нам до них дело?» — произносит он, повернувшись к Милице.

Та ничего не ответила, но старый Савва нахмурился, поскольку ответ сына ему не понравился. «Мог бы иначе сказать о людях, идущих на защиту Сербии».

«Этого нам никто не сказал, а нам и дела нет. Не так ли, Милица, сердце мое?»

«На это я так скажу тебе, сынок мой Янко. Завтра пойдешь с Марко к Руднику, а оттуда выступи против турок и будете сражаться за свободу Сербии. Если погибнете, что ж, оплачем вас; а если вернетесь, объявим о свадьбе Марко и Милицы».

«Меня и Милицы, брат Янко», — произнёс старший брат.

Но Янко, пересиливая себя, улыбнулся и крикнул: «Не будет этого!»

«Нет, будет!» — прокричал разгневанно старший брат.

«А я клянусь на знамени царя Лазаря и на одеянии святого Николая, и на Евангелии святого Иоанна, что ты скорее в собственной крови искупаешься, чем Милица станет твоею!»

«Тихо ты, скверный мальчишка! Не хули старшего брата, ибо знаешь, что отсохнет та рука, которая дерзнет подняться против старшего, и в пекле пропасть тем устам, что возведут хулу на свой собственный род!» — воскликнул старый Савва.

«Мне всё равно, пусть мы погибнем, но если останемся в живых, Милица его не будет!»

Казалось, что Марко, протягивая руки к рассерженному брату и пытаясь закрыть ему рот, едва не задушил его. Но тот, мотнув головой, нахмутив брови и дико взирая, встал напротив старшего брата.

Тут отец встал меж ними и закричал: «Я рассужу вас, хлдолпцы!»

«Рассудишь, — усмехнулся Янко, — разумеется, это будет справедливый суд, раз ты ему уже обещал её. Ну и пусть я буду проклят, если когда-нибудь это случится!»

«Умолкнешь ты наконец, мальчишка! — топнув ногой, прикрикнул отец. — Кто из вас самый лучший юноша, тот и получит Милицу. Марко, ты старший, говори, что для тебя дороже всего на свете?»

«Сербия!» — был ответ.

«А мог бы ради Милицы оставить Сербию?»

Марко потупил взор, грудь его расширилась, но всё же он громко и решительно произнёс: «Нет!»

«Теперь говори, Янко, кто для тебя дороже всего на свете?»

«Милица!»

«А мог бы пожертвовать Милицей ради освобождения отчизны?»

«Отец мой, — ответил Янко, — я люблю Сербию не меньше, чем он, но не могу сказать, что готов покинуть Милицу ради других людей».

«По воле Божьей, — произнес старый Савва, — Марко лучший юноша».

«Неправда! Это несправедливый суд! Здесь, перед тобой и перед всем сербским народом я говорю, что нет большей бабы на свете, чем сын твой Марко; ибо из-за невесты он готов поссориться с собственным братом, но не готов за неё умереть, — он хуже самого скверного человека!»

Тотчас меж ними завязалась ссора. Янко кричал, чтобы Милица сама выбрала из них двоих того, кто ей нравится; та не понимает существа дела, не знает даже о чём идёт речь, но их обоих любит как братьев и жмётся к груди старого Саввы; тот кричит, пытаясь успокоить своих детей, но всё напрасно.

Наконец Марко оттолкнул брата и говорит: «Послушай, отец, как хулит меня твой младший сын, и я должен отомстить ему, во что бы то ни стало».

«А я тебя, — закричал Янко, — ей-ей, расшибу прежде, чем ты заключишь в свои объятия Милицу!»

Престарелый отец лишился голоса, от большого напряжения силы оставили его и он произнёс со вздохом: «Какая вам выгода от драки и ссоры? Пусть ваш вопрос рассудят сербские старейшины!»

«Пустое, отец! — воскликнул Марко. — Никто и никогда не хулил меня так, как этот мальчишка здесь и сейчас. Один из нас должен умереть!»

«А я никогда не видел более хвастливого человека, чем он», — крикнул Янко.

Савва долго пытался утихомирить двух родных братьев, но всё тщетно, ибо два родных брата в гневе вышли во двор, вытащили из-за поясов ханджары и обрушили их друг на друга смертным боем. Отец вышел следом и, вынужденный лишь смотреть на происходящее, произнёс: «Давайте, давайте! Один из вас погибнет за Милицу, а который в живых останется, тот никогда её не получит, поскольку она никогда не выйдет за братоубийцу!»

Всё тщетно. Марк сокрушает брата, но тот всё же всаживает ханджар в грудь его по самую рукоять, вытаскивает его, разглядывая, как дымится на нём горячая кровь, и говорит: «Вот тебе Милица!»

Марко падает, а старый Савва стоит словно окаменевший; он не плачет, не вздыхает, ибо сербу это не пристало, разве что если гибнет его отчизна.

*Конец Савве, когда будет
Белград разграблен,
Чёрный Георгий пса бьёт
И над народом слёзы льёт.*

Сжалось его сердце; его гордость, его надежда пала от руки собственного брата, а в Сербии стало одним удальцом меньше. Это большая утрата. — Смотрит он на сына Янко и говорит: «Чтобы тебя, сынок, сын мой Янко, твое несчастье постигло. Первое несчастье, сынок Янко, чтобы стал ты хуже турка; второе несчастье, чтобы Бог тебя никогда не простил; третье несчастье, сынок мой Янко, чтобы ты как предатель погиб».

III

Лет десять прошло с той поры, когда случилось это печальное происшествие в доме Саввы Марковича. Сербская земля ещё тяжелее вздыхала под турецким ярмом; люди убегали в горы, ибо турок, узнав об их намерениях, отбирал у них всё имущество, а самих продавал как рабов. Увы, уныние и запустение в сербской земле! Стала похожей на большую могилу красивая, прекрасная сербская земля, а люди — словно призраки и духи, кружащие возле этой могилы. Никто не вздыхал, никто не печалился об этом богатырском народе; а сами они едва слово молвили, боясь предательства. И только их глаза разговаривали друг с другом, а руки изображали странные знаки.

И всё же бывали в году дни, когда никакая власть, никакая сила не могли приказать, чтобы сербский народ не собирался вместе; это были дни религиозных и календарных праздников.

Вот и сейчас в рудницких горах собрались тысячи людей. У подножия этих гор стоит монастырь Святого Иована, монахи которого, строго соблюдая правила своего ордена, были известны в Сербии любовью к своему народу. Сегодня день Святого Иована, праздник покровителя монастыря, и потому холмы вокруг него заняты множеством народа.

Перед святой литургией народ расположился вокруг дубов и буков, на которых прибиты иконы Богоматери, Святого Иована, Святого Николая и других святых. Под этими деревьями сидят старцы, которых годы лишили дневного света, с обнажёнными головами, на которых повевающий ветерок поднимает вверх остатки седых волос; в руках они держат гусли и чистыми звуками, время от времени вздрагивающими голосами распевают удалые песни о былых прекрасных временах уже забытой сербской свободы. Народ возле них толпится, снимает шапки, крестится, склоняет головы в немой тишине, давая волю груди, чтобы в ней сообразно желанию отзывались песни слепцов. И когда они долго слушают эти песни, то обеими руками закрывают свое лицо, — а потом на глаза сурового серба наворачивается слеза, ибо один смотрит на раны, покрывающие тело его собрата, а тот крестит маленькое дитя, трепыхающееся в руках измученной матери. Печален тот путь, на котором нет утешения, где только скорбь покрывает людские души.

Около раскидистого дуба больше всего народу толпится. Ветви его приятной прохладой затевают иссохшуюся землю, и листья на них играют с тихим задиристым ветерком так же, как руки слепого певца играют со струнами гуслей, и издают шелестящие звуки.

Под дубом сидит на камне старик с гуслими, волосы его зачесаны за уши наподобие венца, поскольку на макушке у него лысина. Глаза его смотрят вертикально вверх, ибо им, утратившим свет, ничто не угрожает; но морщины на лбу и тихое дыхание свидетельствуют о том, что слух его напряжён, пытаюсь возместить то, что глаза сделать не могут. Справа от него лежат гусли, слева, подпирая голову рукой а взглядом уткнувшись в землю, сидит девушка, для которой уже минул цвет первой молодости, а лицо словно овеяно печалью.

Народ собирался вокруг него. Мужчины, опираясь о длинные палки, с печалью смотрят на Савву Марковича; женщины садятся на землю и, наказывая своим детям молчать, показывают им девицу Малицу.

Старый Савва совсем ослеп; одного сына он потерял, другой ушёл к туркам, которые изгнали старика из его собственного дома, и ходит он теперь по земле, сопровождаемый своим ангелом, девицей Милицей.

Прекрасна любовь, прекрасно самоотречение во имя старости, которая не способна обойтись без помощи.

Старый Савва сидит в окружении притихшей толпы, взирающей на него с благоговением, и вслушивается, словно пытается по ропоту определить ее многочисленность. Медленно он опускает голову, берет гусли и поёт песню, сопровождаемую их игрой:

*В Косово, на белом поле,
шумит знамя царя Лазаря;
у детей Сербии сердце болит,
когда говорят они об этом!*

*Это Косово, белое поле,
печальные известия до нас доносит,
ибо там попала в неволю
отчизна свободная наша!*

*Ты, Косово, поле белое,
нашей павшей свободы поле,
что же ты так печально зашумело,
что значит твоя боль?*

*А Косово отвечает:
«Как же мне не шуметь?
Сыны Сербии в оковах сидят!
Дети Сербии онемели!»*

*О свободе они больше не говорят,
о ней они больше не мечтают;
когда душман их притесняет, давит,
они на это лишь смотрят.*

*А сердце моё сохнет от боли,
а меня печаль, жалость покрывает,
ибо вижу, что моего поля
кровью никто не омоет.*

*Сербский юноша, дитя Сербии,
когда освободишь отчизну?
Когда заря тебе засветит?
Когда смоешь мою вину?*

Старый Савва умолк, подбородком упёрся в головку гуслей, а взгляд тёмных глаз устремил в толпу, словно хотел по лицам людей читать и проникать в их сердца; несчастный забыл, что божье солнышко давно перестало играть с его глазами и теперь лишь отражается от них словно от камня. Но его ухо расслышало громкий ропот толпы, сердце подсказало ему, что песня нашла отзвук в сердцах людей, таких же чутких к песне, как та арфа, которой ведомо всё то, что поет певец.

«Чего же хочет его песня?» — шептал один другому, и слышал в ответ: — «Брось, он прав!»

Наконец один из старцев подошёл к Савве и сказал: «Побратим наш Савва, ты ещё не перестал будоражить людей, чтобы довести их до ещё больших несчастий? Ты и прежде вдоволь постарался, и мы из-за предательства твоего сына едва не сгинули; а теперь, не имея сил нарушить наше спокойствие, ты души наши ядом песен наполняешь!»

«Побратим мой Штефан Сикула, на то, что сын мой всё испортил, я возражать не стану, но ты не запретишь мне петь о том, что мне нравится!»

«Это так, это так», — закричали с одной стороны.

«Чего же вы хотите? — отозвался Штефан Сикула. — У народа нет сил противостоять туркам; и стоит только такой песне запасть в душу народа, кинется он на беду свою, даже не задумавшись о том, что этим только хуже делает. Ждите, собратья, лучших времён!»

«Верно, верно!» — закричали с другой стороны.

А старый Савва нахмурился, поднялся, превозмогая боль, и, протянув руку девице Милице, говорил: «Пойдём, дитя моё, отсюда прочь; тут собрались не сыновья Сербии, кипящие от гнева за свой позор, а всего лишь подлые рабы!»

Но покуда он встал, покуда Милица руку ему подала, уже зашумели собравшиеся: «Остановись, остановись! Стыдно насмехаться над слепцом!» Перебранка и ссора завязались в толпе, поскольку сербский народ почитает слепцов ясновидящими. Закончилась ссора внезапно, ибо над людьми зазвучало: «Господи, просьбы наши услышь и смилуйся над нами!»

Оставив страсти, ссоры и раздоры, народ со спокойным сердцем опускался на колени, осенял себя крестным знаменем и произносил: «Господи, помилуй!»

Священная литургия (богослужение) началась, народ молился на коленях, и каждый раз, когда священники возносили молитву, народ отвечал «Господи, помилуй!» с таким сокрушенным сердцем, что никакой другой человек, не имеющий такой огромной потребности в милости Божьей, как сербский народ на этом пути, не сможет произнести сокрушённое. После молитвы народ произнёс «Аминь!», а

священнослужители, покروшив хлеб в позолочённые и наполненные вином кубки, по очереди ложечками давали вино с хлебом; и когда мужчина получал благословение, священник, наклонившись, шёпотом говорил ему: «В храме перед алтарём – отпущение грехов, в храме перед алтарём – спасение!»

Все мужчины входили в храм.

Вскоре поднялся крик и в храме, и вокруг его, мужчины выбегали из его святых дверей с горящими глазами; один поднимал ятаган, другой прижимал к сердцу ханджар, третий размахивал над головой ружьём, другие же несли в руках окованные железом посеканицы. Все в один голос кричали: «Слава, Господи, имени твоему!»

Монахи монастыря Святого Иована были людьми благочестивыми, но тихость их бытия, отрешённость от мира только способствовали глубокому осознанию позора своего народа, вдумчивому осмыслению его положения. И видя, что турки лишили народ оружия, чтобы он не мог оказывать сопротивления, они тайно собирали его и во время почитаемого святоянского¹ паломничества роздали его людям.

Ах, если бы вы видели, любезный собрат, эту разгорячённость мысли, это воодушевление народа, разом обретшего средство исполнения своих страстных желаний! О, это уже не игрушки, не рядовое событие!

Народ разгорячён; старики плачут, мужчины обнимаются, юноши ликуют, всюду гул и лязг оружия.

Старый Савва стоит среди людей, глаза свои в небо устремив, но того, что слышит ухо, что чувствует душа, он выразить не может. Дрожь его охватила, ноги сами собой подогнулись, сложенные руки взметнулись вверх, а уста произнесли: «Господи, смилуйся над нами!»

Весь народ следом за ним произносит: «Господи, смилуйся над нами!»

И после произнесённых слов подошёл Штефан Сикула, взял старого Савву за руку и сладким голосом говорит: «Побратим мой Савва Маркович, теперь мы видим твою правоту. Господь хранит тебя для украшения сербского народа! – Вот тебе, вот и тебе меч, ибо кому же он подобает, как не тебе!» И вложил в его слабую руку длинный острый меч.

И старый Савва, ощутив в руке металл, выпрямился, и рука его не согнулась под тяжестью оружия, которое он так вскинул вверх, что, дорогой собрат, я сказал бы, что это не многолетний старец, но двадцатилетний юноша. Вскинув меч, старый Савва воскликнул: «За Сербию и веру Христову!»

И толпа, вскинув оружие, следом за ним кричит: «За Сербию и веру Христову!»

Как только раздался этот крик, из чаши с левой стороны загрохотали выстрелы ружей; несколько человек в толпе упало, в клубах порохового дыма несколько глаз засверкали, словно фонарь в ночи, и со всех сторон донесся визг: «Аллах, Аллах!»

Выстрел следует за выстрелом, на смену ружьям приходят мечи и ятаганы, и сербы вынуждены драться и рубиться прежде, чем они смогли привести себя в порядок. Многие пали, немало турок побив, многие пробились сквозь ряды неверных, многие женщины, спасая детей, побежали; но сердце турка, сердце янычара²,

¹В канун Ивана Купала, 23 июня.

²Янычары – (турецкое *yeniceri*, буквально – новое войско), турецкая регулярная пехота в 14 в. – 1826. Первоначально комплектовалась из пленных юношей, позже путем насильственного набора мальчиков из христианского населения Османской империи.

рождённого от родителей-христиан, но в детстве отнятого у них и воспитанного по-турецки, хуже твердого камня. Хафиз-ага, предводитель янычар, закричал: «За ними, за ними!»

Едва эти слова вырвались из уст Хафиза-аги, Милица, оставшаяся здесь со стариком-слепцом, лишилась чувств и упала на землю; а старый Савва всем телом затрепетал, словно осенний лист, и, свесив голову, произнёс: «Эй, сынок мой Янко, вот и исполнилось моё проклятие; чтобы тебе, сын мой Янко, раз уж ты стал хуже турка, никогда не знать Божьей милости! Чтоб тебе, сын мой Янко, смертью предателя умереть!»

И, переполненный чувствами, склонился он над своей Милицей, и горькие, печальные всхлипывания выдавали терзания его сердца.

IV

Видели вы когда-нибудь юношу, полного планов на будущее и желающего осчастливить мир кровью собственного сердца, помочь миру, безмерно желающего счастья роду человеческому? Видели вы его умирающим, когда весь мир стремлений встаёт перед его глазами? Он видит свою блестящую роль перед глазами души, но видит также, что силы в жилах его угасли, что мир его, самое прекрасное творение его воображения, в скором времени погибнет подобно тому, как в летнее время тает туман в горах, и в вечности не останется после них ни следа.

Если вы видели эту его боль, это бесконечное желание, эту глубокую печаль, эту ужасающую борьбу на его лице, тогда вы имеете право сказать: это ужасная тоска, это великое несчастье!

И всё же тоска женщины более печальна, чем тоска мужчины; ибо даже если тоска пронзает всё его существо, если она проникает в самые глубокие закоулки его души, всё же сила его под её напором так сразу, подобно женской силе, не сломится. Вот в такой печали и пребывает Милица.

Когда-то Милица была подобно цветку, осыпанному утренней росой, дрожащему и страстно ожидающему возлюбленного своего, горячего солнышка; сегодня уже исчезло с ее лица очарование первой молодости, долгие страдания морщинами избороздили её лицо, изящная фигура ссутулилась, улыбка умерла на устах, а её беззаботная покачивающаяся походка сменилась на тихую поступь. К тому же сидит она сейчас в одиночестве в тесной коморке, не ведая, где она находится и куда подевался старый Савва; одно ей ведомо, что разлучила их безжалостно особа хорошо ей известная и, думаю, её сердцу милая. Неужели погиб почтенный старец? Неужто не вздыхает он о свободе и о своей Милице? — Ничего этого она не знает, а знает только то, что услышала возле рудницкого монастыря знакомый голос, пронзивший ее душу, а ещё — проклятие отчаявшегося старца.

Да, пусто в душе у девицы Милицы, немо вокруг неё, глухо в её груди.

Сидит девица Милица на лавке, обоими руками о стол опираясь, голову на них положила, а глаза, словно хочет она их спрятать и не может, сверкают угасающим огнём. Ничего не слышит она, только бряцание сабли прохаживающегося возле дверей янычара.

Но вскоре лязгнули двери; внутрь вошёл мужчина, высокий, длинные усы вьются по выбритому подбородку, а меж бровей у него видны морщины, свидетельство его твердости и непреклонности. Милица глазом не повела, сидит тихо, неподвижно; видно, что подобные визиты ей не в новинку и безразличны. Долгим

был взгляд, который устремил на Милицу вошедший мужчина, и один этот взгляд должно быть возбудил в его душе странное чувство, ибо он вздрогнул всем телом и замер как вкопанный. Наконец, вздохнув, мужчина подошёл к девушке, страстно схватил ее за руку и позвал: «Милица!»

И девица Милица очнулась от оцепенения, и глянула на вошедшего мужчину. Голова её отшатнулась, и видно было, как в горле её замер сдавленный вскрик.

И встали друг против друга два человека, которым ведомы все их вины, и прежде всего то, что они являются причиной многих зол. Милица узнала Хафиза-агу и брата, любимого своего Янко Марковича. Её душа не испугалась этого взгляда, она не отвернулась от него; видимо, чистая душа в меньшей степени осознаёт грехи, которых никогда не совершала, и не бледнеет при виде человека, на котором лежат большие пригрешения.

Янко не произнёс ни слова, ибо, хоть он и суров, хотя ему хватило силы отречься и от своей веры, и от своего рода, хотя ему хватало жестокосердия и бесчувственности истреблять его и толкать в пропасть, хоть он и не боялся Бога, уничтожая собственный народ, народ родной, кажется, что сейчас он был не властен над собой, стоя перед собственным узником — слабой девушкой. Кажется, что ему эта девушка дороже всего на свете, ибо сейчас сердце его стучит громко, жилы его напряжены, а дыхание, исходящее из груди, в сдавленном горле учащается, душит его.

Но Милица, словно ничего не произошло, словно она забыла печаль, словно чувствовала себя свободной в присутствии знатной особы, спросила: «Янко, братец, где отец, где старый Савва?»

«Не спрашивай о нём, не о нём я пришёл разговаривать, о другом я должен сказать тебе», — говорил Янко.

«А кто же даст мне ответ, как не ты? Всё же, ты сын его, и, думаю, искра сыновней любви в тебе ещё не погасла?»

«Сыновней любви?! О чём ты говоришь, Милица? Я этого не понимаю. Он никогда не любил меня, ибо отказался отдать тебя мне; он меня никогда не любил, ибо ты знаешь, что он проклял меня; он меня никогда не любил, ибо отнял у меня твою любовь!»

Милица вскочила с лавки, схватила Янко за руку и порывисто заговорила: «Никто не отнял у тебя мою любовь!»

Янко сдерживался, глаза его расширились, а челюсти сомкнулись так, что он ничего не мог вымолвить, кроме слова: «Милица», — которое застыло на его губах.

«Послушай, брат Янко, что я должна тебе сказать; после того, как мы разлучились, я всегда тебя любила, я благословляла тебя, когда другие проклинали. Не раз, когда мы с твоим отцом вынуждены были скрываться от тебя, и мои босые ноги кровоточили, израненные тёрном и чертополохом, когда мы неделями вынуждены были спать под открытым небом на холоде, когда мы нигде ни приюта, ни покоя не находили, когда мне разум твердил, что причиной всего этого являешься ты, брат Янко, сердце моё не хотело этому верить».

И глаза Янко кровью налились, грудь его едва не разорвало, так грозно он выкрикнул: «Что ж ты не говорила об этом, когда я тебя спрашивал? — Я не стал бы предателем! — Грех и вина падают на твою голову!»

Но девушка не испугалась, так же тихо, спокойно, как и прежде, она отвечала:

«Смилуйся над самим собой. Не призывай на себя отмщение, которое ты и только ты заслужил. — Послушай далее меня, братец Янко. Для меня не было разницы между вами, двумя братьями, одного я любила так же, как и другого; однако мгновение твоего несчастья склонило мое сердце к тебе. Когда другие тебя проклинали, я видела тебя во сне, когда другие нацеливали в твою грудь меч, я тебя обнимала; и плакала я над твоим несчастьем, и молилась за твою пропащую душу! Видишь, Янко, братец, я ничему не причина!»

А Янко стоял словно окаменелый, но душа его размягчилась, и слеза окропила руку возлюбленной. «Послушай меня, Милица, — сказал он вскоре, — ворота сераля¹ для меня открыты, народ в моей власти — пойдём со мной, и будем жить вместе, забыв о свете, о грядущем»

Но Милица покачала головой и произнесла: «Никогда, брат мой! — Видишь, любая сербиянка, зная, что ты неверный, что ты предатель и веры, и рода своего, тебя оттолкнула бы; ну а у меня огонь первой молодости уже погас — десять лет бед и печалей сделали из меня особу печальную, тихую, которую ни несчастья, ни всполохи счастья, сверкающие вдалеке, не уведут от однажды принятого намерения. Ты гневливый, бесчувственный, ты неверный; разве ты мог бы сохранить мне верность?»

«Останови, останови свои слова, — воскликнул он, — вера диктует мне свои законы, и нет на небе столько мерцающих звёзд, сколько было у меня красивых девушек — и ни разу ни на одной из них не остановился мой взгляд с той минуты, как я тебя потерял».

«И в этом я верю тебе; но вольная сербиянка никогда, даже если бы ей пришлось кровь своего сердца без остатка по капле выцедить, по доброй воле руку неверному не отдаст».

«Ох, имей же жалость надо мной и над собой, Милица моя. Не терзай еще сильнее моё сердце железом своих слов! Не верь, что я жестокий, злой; ей-ей, жестокостью, истязанием соплеменников мы зачастую хотим загасить лишь собственные муки, опоить свое сознание, заглушить его, чтобы забыться. — Идём, моя Милица! Пойдём в Трансильванию, а потом всё дальше и дальше, где даже солнце нас не настигнет!»

«Рука Божья настигнет нас!» — сурово, проникновенно, неспешно произнесла Милица, словно и впрямь хотела пробудить в его неверном сердце веру в Бога. — На тебе лежит отцовское проклятие, и никогда ты не сможешь быть счастливым! Он наложил на тебя проклятие, что ты станешь хуже турка, и ты стал хуже чем турок; он наложил проклятие, чтобы Бог не простил тебя — и он никогда тебе не простит!»

«Если в тебе нет жалости ко мне, если ты надо мной не смилуешься, то и во мне нет пощады, нет милосердия! Разобьём себе головы о стену либо изничтожим людское племя и дьявольски погибнем!»

«Оставь это, брат Янко, — негромко отвечала Милица. — Никогда я не смогу стать тебе женой, ибо ты пролил кровь своего рода; но если хочешь вернуть себе Божье прощение, освободи Сербию! Избавь от душманского ярма наши племена — и Бог простит тебя, и отец твой тебя простит, и я тебя прощу».

¹Сераль — (фр. перс. serail). Дворец турецкого султана и, в частности, та часть его, в которой живут женщины, гарем.

V

Сербские племена спустились с гор в долины и обрабатывают поля; радость их ширится, вино переходит из рук в руки, и побратим передает кубок дружбы побратиму. Турки навалились на венгерские земли, и потому Сербия пользуется передышкой, хотя через неё и проходят душманские войска. Минул примерно год после того, как сербы потерпели поражение возле рудницкого монастыря Святого Иована. Старый Савва Маркович, сопровождаемый девицей Милицей, ходит с гусями по сербским рощам и редко находит своих побратимов, до сей поры живущих, управляющих своими родами. И он рассказывает им удивительные вещи, которым сербы не верят и не желают следовать его призывам к новой войне, хотя и жалеют его, и пожимают ему руки, и сочувствуют ему; каждый думает, что всё тщетно.

Но вот радостные известия дошли до Сербии. В Венгрии король Матиаш разбил турецкие орды, паша был осуждён на смерть, а Хафиз-ага, который, по рассказам Саввы Марковича, потворствуя сербам, нарочно давал паше такие советы, чтобы он был разбит, был назначен на его место. Сербия, вскормленная новыми надеждами, поднялась. Старый Савва Маркович с Милицей всюду идет и сопровождает сербских повстанцев.

Хафиз-паша послан в сербские земли, чтобы учинить там кровавый суд. Турки клянутся жестоко отомстить христианам. — На сербскую землю пришли и янычары, и сипахи¹, и татары. Всюду безлюдье, всюду тишина. В рудницких горах весь народ собрался с оружием в руках, поднимают камни на склоны гор, подрубают деревья.

Хафиз-паша силён, могуществен; сам серб от рождения, он — всем известный враг этого народа. Войско ему всецело доверяет. Призвал Хафиз агу² татар: «Послушай, ага татар, — сказал ему, — трудно добраться до гор к собакам неверным! Перо-денешь своих татар в сербские одежды и пойдёшь в горы, и остановишься под стенами заброшенного монастыря, ожидая там, покуда неверные не подойдут».

¹Сипахи – спахии, спаги (тур. sipahi, от перс. сипахи - воин, солдат), - в Османской империи: 1) Общее назв. воен. ленников-тимариотов и заимов, получавших от султана зем. пожалования (тимары и земеты) и обязанных нести за это воен. службу, выступая в поход с определенным числом сохранившихся за их счет всадников. В 15-16 вв. С. составляли важнейшую часть тур. воен. сил, но по мере разложения военно-ленной системы их значение стало быстро падать, хотя формально институт С. существовал вплоть до отмены военно-ленной системы (1834).

²Ага – (тюрк. – господин) офицерский титул в Османской империи.

Как сказал, так и произошло. Ага татар ушёл вперед. Хафиз-паша приказывает янычарам и сипахам двинуться вперед. Дошли до самых стен заброшенного монастыря Святого Иована, а там сербов — черным черно, словно в море песка, несчитано. Хафиз-паша приказал стрелять, и янычары закричали: «Аллах, Аллах!» Но и с другой стороны доносится: «Аллах, Аллах!» — Янычары остановились, пришли в замешательство; но Хафиз-паша им кричит: «Измена, измена! Псы неверные сбрили бороды, чтобы легче было на нас нападать; я их узнал, я их узнал!»

И янычары рассыпались по всей горе и стреляли, и рубили татар словно деревья; а татары кричат, мол, союзники, — однако всё напрасно. Турки турков рубят словно дикие звери — так что обе стороны изрядно поределели. И тут с гор зазвучало: «За Сербию и веру!» И камни с вершин летят, подрубленные деревья валятся и на смерть крушат неверных турок. Хафиз вскидывает саблю и с криком: «За мной, за мной!» — посылает коня вперед. И янычары, и сипахи мчатся за своим предводителем. Однако и сверху, и снизу появляются сербские удалыцы, у Хафиза глаза наливаются кровью, вскидывает он саблю и зовёт: «Сербы, вперед, следуйте за саблей Янко Марковича!» И сербы всё плотнее и плотнее окружают янычар, Хафиз-паша сражался против них, и видно было их смятение, и слышно было, как срывались с их губ крики и проклятия. Хафиз-паша нашёл общий язык с сербскими удалыцами; Савва Маркович им всё рассказал, и турецкое войско развеялось, словно пыль в степи под порывами сильного ветра.

Янычары обратились в бегство, пылая злобой против собственного предводителя: в Венгрии едва не погибло их войско, а сейчас его того и гляди в порошок сотрут. И насторожились некоторые, и первым делом окружили они Хафиза, якобы он был с сербами заодно, отсекали ему голову и умчались.

Хафиз-паша упал с коня; сербы помчались за янычарами, и только двое остались на поле битвы. Были это старый Савва и Милица. Когда она увидела падающего Янко, вскрикнула, лишилась чувств и упала. Старый Савва зовёт: «Вот, радуйся, дитя моё, торжествуй победу, кричи, чтобы голос твой донёсся до небес!» А затем, словно желая наклониться к её уху, шёпотом говорит: «Слышишь, дитя моё? Солнце всё же встаёт над Сербией, чтобы более не закатиться!» И только тут старик замечает, что его дитя, Милицы, нет рядом с ним, ибо, опьянённый радостью победы, он не заметил её падения. И протягивает он тогда руки, шарит вокруг, но Милицы нет возле него. И содрогнулось сердце в его груди, и сделал он шаг вперед с вытянутыми руками, наклонился, рукой провёл по её лицу и позвал: «Очнись, дитя моё, очнись! Душман убегает, а Сербия встаёт!» — Но Милица не отвечала. Старик не хотел верить, что что-то могло случиться с его воспитанницей, и ждал, ждал, но она не шевелилась.

Словно стрела пронзила его душу, радость сменилась печалью; одинокий старик звал, но никто не приходил к нему на помощь, он не видел, что темная ночь накрыла своим крылом необъятную, безбрежную землю, и не чувствовал, что в воздухе посвежело, ибо возбуждённый и не знающий, радоваться ему или горевать, ничего он не чувствовал из того, что творилось вокруг. И склонился он к Милице, приложил сначала ухо, потом руку к её груди, выясняя, жива она или мертва, и обнаружив слабое биение сердца, словно безумный воскликнул: «Она не смеет умереть, покуда не услышит, что кровь Саввы Марковича освободила Сербию!» И встряхнул её сильно, а с другой стороны студёны вечерний ветерок овеял её, и так

постепенно стала она двигаться, мало-помалу пришла в себя. Старый Савва сказал: «Слышишь, дитя моё? Сербия торжествует; кровь моя освободила Сербию!»

Но Милица не дала ему ответа: она взяла его за руку: «Пойдём, отец!» – шепча, вела она несчастного слепого старика, вела до тех пор, пока не привела к месту, которое ее душе было таким знакомым и таким страшным.

Там они остановились, и Милица говорит торжественно: «Отец Савва, тут лежит сын твой убитый, зарубленный за независимость Сербии. Отец, он оплатил свою вину, возьми назад своё проклятие!»

«Кто здесь лежит?» – спросил задумчиво Савва, не веря её словам.

«Твой сын Янко!»

«Мой сын Янко! – и он улыбнулся при этом. – Разве ты не знаешь, дитя моё, что мой сын Янко освободил Сербию, что он живёт, изничтожая турок, и жив будет, покуда не погибнет сербская песня?»

«Отец, не заблуждайся! Он выполнил свое слово и одним поступком смыл свою вину; отец, возьми назад своё проклятие, ибо сын твой ждёт этого, хоть он и лежит тут мёртвым возле твоих ног».

И старый Савва только сейчас понял смысл слов Милицы. Он задрожал, голова его склонилась, руки распахнулись, словно хотели обнять кого-то отсутствующего, и печальным, проникновенным, пронзающим до самого сердца голосом уста его поризнесли: «Дитя моё!» И более никогда из этой груди не исторглось голоса.

У подножия рудницких гор смотрится в крови белый месяц; в крови лежит зарубленный Янко, а на нём спит мёртвым сном отец его Савва Маркович. Возле них на коленях склонилась девица Милица; глаза её не плачут, руки обвисли, а уста шепчут: «И был он хуже турка, и Бог его не простил, и погиб он как предатель. – А я его так любила... Так любила...»

И вскинула руки подобно ангелу, и вознесла очи к небу подобно ангелу – а бледный тихий месяц заглянул в них и разглядел печаль несчастной сербиянки.